

ИДЕЙНАЯ СТРУКТУРА «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»

Ю. ЛОТМАН

«Капитанская дочка», — одно из наиболее совершенных и глубоких созданий Пушкина, — неоднократно была предметом исследовательского внимания. В обширной литературе вопроса особо следует выделить ряд исследований Ю. Г. Оксмана¹ и главу в книге Г. А. Гуковского². Архивные разыскания и публикации документов, равно как и тонкий анализ идейно-политического содержания в работах Ю. Г. Оксмана, производимый на обычном для этого исследователя широком идеологическом фоне, и рассмотрение художественной природы повести, ее места в истории формирования пушкинского реализма в книге Г. А. Гуковского составляют высшие достижения советского литературоведения в этой области. И если те или иные конкретные положения этих работ могут стать предметом научного спора, то это не умаляет их значения как основы для любого дальнейшего углубления в анализ пушкинской повести. Ряд глубоких замечаний исследователь найдет в работах Б. В. Томашевского, В. Б. Шкловского, Д. П. Якубовича, Е. Н. Купряновой, Н. К. Пиксанова, Д. Д. Благого и др. Это, однако, не означает, что проблематика «Капитанской дочки» выяснена исчерпывающе. Более того, многие кардинальные вопросы позиции Пушкина в «Капитанской дочке» все еще продолжают оставаться дискуссионными. Таково, например, истолкование знаменитых слов о «русском бунте». Если Ю. Г. Оксман считает их своеобразной данью цензурным условиям, воспроизведением

¹ Работы Ю. Г. Оксмана, посвященные «Капитанской дочке», публиковались между 1934 и 1955 годами. В дальнейшем они вошли в книгу «От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева» (Саратов, 1959). Здесь же на стр. 101—102, 105, 110—111 и 131 — обзор литературы вопроса.

² Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., Гослитгиздат, 1957.

охранительной точки зрения (равной взглядам Дашковой и Карамзина), разоблачаемой всем ходом повествования, вызывающего читательское сочувствие Пугачеву, то другой авторитетный знаток творчества Пушкина Б. В. Томашевский писал: «Оставленная в тексте романа сентенция отнюдь не вызывалась необходимостью изложения событий. Что же касается до взглядов Гринева, как героя романа, на Пугачева и крестьянское движение, то Пушкин отлично охарактеризовал их в других более четких словах и в самом ходе действия. Если он сохранил эту фразу, то потому, что она отвечала собственной системе взглядов Пушкина на крестьянскую революцию. За этой фразой не кроются ни презрение к русскому крепостному крестьянству, ни неверие в силы народа, ни какие бы то ни было охранительные мысли. Эта фраза лишь выражает, что Пушкин не верил в окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил».³

Это не единственный из спорных вопросов, возникающих в связи с «Капитанской дочкой». Решение их следует искать на путях анализа произведения, как идейно-художественного единства.

Путь Пушкинской мысли от «Дубровского» к замыслам о Шванвиче, Башарине (параллельно с работой над «Историей Пугачева») и, наконец, «Капитанской дочке» хорошо изучен в работах Ю. Г. Оксмана⁴ и ряда других исследователей.⁵ Суммировать эти данные можно следующим образом: Пушкин в начале 1830-х гг., исходя из чисто политического наполнения понятия свободы, пришел к убеждениям, весьма характерным для продолжателей декабристской мысли.⁶ Свобода, понимаемая как личная независимость, полнота политических прав, в равной мере нужна и народу и дворянской интеллигенции, утратившей антинародные феодальные привилегии, но выковавшей в вековой борьбе с самодержавием свободолюбивую традицию. Борьба за уважение деспотом прав дворянина — форма борьбы за права человека. С этих позиций народ и дворянская интеллигенция («старинные дворяне») выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным про-

³ Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. II, М.—Л., изд. АН СССР, 1961, стр. 189.

⁴ См.: Ю. Г. Оксман, От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, стр. 5—36.

⁵ См., например.: В. Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, М., 1937, Н. И. Фокин, К истории создания «Капитанской дочки», Уч. зап. Уральского Педагогического института, 1957.

⁶ Ср. сопоставление экономических воззрений Пушкина и М. Орлова в работе С. Я. Борового. «Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830-х гг.» в сб. «Пушкин и его время», вып. I, Л., изд. государственного Эрмитажа, 1962.

изволом псевдоаристократию, «новую знать». В области художественной типологии такой подход подразумевал своеобразную конструкцию образа: определяющим в человеке считалось не социальное бытие, которое было у Дубровского и Троекурова общим (Пушкин, конечно, был чужд вульгарно-социологическому противопоставлению «мелкопоместного» и «крупного» барства), а принадлежность к определенному кругу идей, культурно-психологическому типу. Только с этих позиций можно было признать, что дворянский, общий с Онегиным, образ жизни не затрагивает народного нравственного склада Татьяны, а Дубровский может перейти на сторону народа, оставаясь дворянином. Он утратил имущество, но не пережил того нравственного переворота, который потребовался, например, Нехлюдову, чтобы перейти на сторону народа. Дубровский в крестьянском отряде — это нравственно тот же Дубровский, каким он был до рокового перелома своей судьбы. Прошедшая жизнь офицера и помещика не представляется ему грехом и скверной, а новая — нравственным воскресеньем. Русский столбовой дворянин, наследник вековой традиции сопротивления самодержавию, он естественный союзник народа. И в качестве вождя восставших он сохраняет патриархальную власть над своими крестьянами. Его отряд скорее напоминает партизанскую «партию» 1812 г., возглавленную офицером типа Васьки Денисова или Николая Ростова (которого его гусары называют: «наш граф»), чем русскую крестьянскую вольницу, поднявшуюся с топорами на господ.

«Общие замечания», которыми снабдил Пушкин «Историю Пугачева» для Николая I, свидетельствуют о глубоком переломе, который произошел во взглядах Пушкина в ходе изучения материалов крестьянской войны под руководством Пугачева. Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало <...> Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (IX, кн. I, стр. 375). Именно то, что в основе поведения людей, как теперь считает Пушкин, лежат «интересы», позволяет объединить всех дворян, без различия их идейно-интеллектуального уровня, степени свободолюбия или сервилизма, в один, общий с правительством, лагерь, противопоставленный «черному народу». Типизация художественного образа приобрела отчетливо социальную окраску. Это, в свою очередь, наложило отпечаток на всю идейно-художественную структуру повести.

Вся художественная ткань «Капитанской дочки» отчетливо распадается на два идейно-стилистических пласта, подчиненных изображению миров — дворянского и крестьянского. Было бы недопустимым упрощением, препятствующим проникновению

в подлинный замысел Пушкина, считать, что дворянский мир изображается в повести только сатирически, а крестьянский — только сочувственно, равно как и утверждать, что все поэтическое в дворянском лагере принадлежит, по мнению Пушкина, не специфически дворянскому, а общенациональному началу.⁷

Каждый из двух, изображаемых Пушкиным миров имеет свой бытовой уклад, оваянный своеобразной, лишь ему присущей поэзией, свой склад мысли, свои эстетические идеалы. Быт Гринева, воспитание героя даются сквозь призму ассоциаций с бытом фонвизинских героев.⁸ Однако резкая сатиричность изображений Фонвизина смягчена: это рассказ вызывающего сочувствие читателей героя о своем детстве. Фонвизинские отзвуки воспринимаются не как сатирическое изображение уродства неразумной жизни плохих помещиков, а как воссоздание *характерного* в дворянском быту XVIII в. Уклад жизни провинциального дворянина Гринева не противопоставлен, как это было у Фонвизина, вершинам дворянской культуры, а слит с ней воедино. «Простаковский» быт Гриневых не снимает их связи с лучшими традициями дворянской культуры XVIII в. и их порожждением — чувством долга, чести и собственного человеческого достоинства. Не случайно «дворянский» пласт повести пронизан отзвуками и ассоциациями, воскрешающими атмосферу русской дворянской литературы XVIII в. с ее культом долга, чести и человечности. Этой цели служат и эпитафии, частично подлинно заимствованные из поэтов XVIII в., частично под них стилизованные. Пушкину важно было, чтобы имена Сумарокова, Княжнина, Хераскова значились под главами, определенным образом ориентируя читателя. Гринев в детстве,

⁷ В этом смысле характерно часто встречающееся стремление исследователей перенести «простого» Миронова из дворянского лагеря в народный. Позиция Пушкина в «Капитанской дочке» значительно более социальна, чем, например, Толстого в «Войне и мире», где Ростовы, действительно, вместе с народом противопоставлены миру Курагиных. Не случайно, Пушкин не ввел в повествование фигуры троекуровского типа — вельможи XVIII в. — антагониста Гриневых и Мироновых. Швабрин — фигура совсем иного типа: он отщепенец, противопоставленный всему дворянству в целом. Попытки увидеть в Екатерине II фигуру, являющуюся противоположной Мироновым, как мы стараемся показать, лишены оснований.

⁸ Отец Гринева «женился на девице Авдотье Васильевне Ю. дочери бедно тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве» (VIII, кн. I, стр. 279). Этот эпизод, бесспорно, должен был проектироваться в сознании читателей на реплику Простаковой и воскрешать атмосферу помещичьего быта XVIII в. «Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодных. Нас, детей, было у ней восемнадцать человек, да, кроме меня с братом, все, по власти господней, примерли» («Недоросль», III действ., явл. 5). Из этой же сцены Пушкин взял другую, рядом расположенную, реплику эпитафией к главе «Крепость»: «Старинные люди, мой батюшка (Недоросль)». Савельич охарактеризован цитатой из «Послания к слугам моим» Фонвизина: «И денег и белья и дел моих рачитель» (там же, стр. 284).

как и Митрофан «жил недорослем, гоня голубей» (VIII, кн. 1, стр. 250), но вырос не Скотининым, а честным офицером и поэтом, стихи которого — «для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял» (там же, стр. 300). Точно также «по-домашнему», вплетается в повествование и имя Тредьяковского, который оказывается учителем Швабрина (там же). Гринев — наследник русского вольтерьянского рационализма — не может без стыдливой оговорки о том, что «сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам» (там же, стр. 289), рассказать о своем загадочном сне. В духе русских юристов XVIII в. — последователей Беккариа он протестует против пытки («думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу» (там же, стр. 317)).⁹

Крестьянский уклад жизни овеян *своей* поэзией: песни, сказки, легенды пронизывают всю атмосферу повествования о народе. Особое место занимают пословицы, в которых выкристаллизовалось своеобразие народной мысли. Исследователи неоднократно обращали внимание на роль пословиц и загадок в характеристике Пугачева. Но пословицами говорят и другие персонажи из народа. Савельич пишет в отписке барину: «Быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается» (там же, стр. 312). Пушкин подчеркнул, что речь Пугачева, вобравшая все своеобразие народного языка, дворянину непонятна: «Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора», — пишет Гринев. При этом показательно, что тайный «воровской» язык, которым пользуются Пугачев и хозяин «умета», — это не арго, специальная речь, доступная лишь членам шайки, а язык пословиц и загадок — сгусток национально-самобытной стихии языка. Смысл речи, непонятной Гриневу, прекрасно понятен читателю.

Разные по образу жизни, интересам, нравственным идеалам и поэтическому вдохновению, миры дворянский и крестьянский имеют и разные представления о государственной власти. Пуш-

⁹ Конечно, Гриневу принадлежит и вызвавшее многочисленные споры слово о «русском бунте». Ю. Г. Оксман привел параллели к рассуждениям Гринева из записок Дашковой и произведений Карамзина. Подобные примеры можно было бы привести в очень большом числе. Хочется лишь отметить, что в контексте русской идейной жизни конца XVIII в., — и это было Пушкину прекрасно известно, — подобные высказывания имели не охранительный, а либерально-дворянский характер. Однако спор о значении этих слов Гринева приобрел явно гипертрофированный характер, заслонив собой анализ всей повести как таковой. Из того, что осуждение «русского бунта» принадлежит Гриневу, не вытекает автоматически никаких выводов о позиции Пушкина. Ее нельзя вывести простым толкованием отдельных сентенций. Следует определить значение всего замысла в его единстве.

кин отбросил разделение властей на «законные» и «незаконные». Еще во время путешествия по Уралу он обнаружил, что народ разделяет власть на дворянскую и крестьянскую и, подчиняясь силе первой, законной для себя считает вторую. В «Замечаниях о бунте» Пушкин писал: «Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович» (IX, кн. I, стр. 373). Но и правительство — дворянская власть — по-разному относится к «своим», даже если они «изменники», и к «чужим». Оно вершит не правосудие, а классовую расправу: «Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и пр. А Шванвич только ошельмован преломлением над головою шпаги» (там же, стр. 373). Дворянская историография рассматривала самодержавную государственность как единственно возможную форму власти. В их представлении народное движение может привести лишь к хаосу и гибели государства. Не только реакционные, но и либеральные дворянские мыслители XVIII — начала XIX вв. считали, что народное восстание несет с собой общественный хаос. Просветительская точка зрения, особенно в ее демократическом—руссоистском или радищевском — варианте, исходила из представлений о народном суверенитете и праве угнетенных на восстание. Совершенно с иных, чем у дворянских идеологов, позиций просветительство было также нормативно. Оно делило государственные системы на правильные и неправильные и для каждого народа в данный исторический момент допускало лишь одну возможность.

Позиция Пушкина была принципиально иной. Увидев раскол общества на две противопоставленные, борющиеся силы, он понял, что причина подобного раскола лежит не в чьей-либо злой воле, не в низких нравственных свойствах той или иной стороны, а в глубоких социальных процессах, не зависящих от воли или намерений людей. Поэтому Пушкину глубоко чужд односторонне-дидактический подход к истории. Он в борющихся сторонах видит не представителей порядка и анархии, не борцов за «естественное» договорное общество и нарушителей законных прав человека. Он видит, что у каждой стороны есть своя, исторически и социально обоснованная «правда», которая исключает для нее возможность понять резоны противоположного лагеря. Более того: и у дворян, и у крестьян есть своя концепция законной власти и носители этой власти, которых каждая сторона, с одинаковыми основаниями, считает законными. Екатерина — законная дворянская царица, и ее управление соответствует правовым идеалам дворянства. Сама законность принципов ее власти делает, в глазах дворянина, второстепен-

ным вопрос о недостатках ее личного характера, неизбежном спутнике самодержавия. И старик Гринеv, в облике которого Пушкин сознательно приглушил черты аристократического фрондерства, сведя их с пьедестала самостоятельной политической позиции до уровня характеристической черты человека эпохи, наставляет сына: «Служи верно, кому присягнешь» (VII, кн. I, стр. 282). С точки зрения героев-дворян, Пугачев — «злодей». Иван Кузмич говорит Пугачеву: «Ты мне не государь», а Иван Игнатьич повторяет: «Ты нам не государь» (там же, стр. 324—325). Со своей стороны, крестьяне в повести, подобно собеседнику Пушкина Д. Пьянову, считают Пугачева законным властителем, а дворян — «государевыми послушниками». Готовя материалы к «Истории Пугачева», Пушкин записал, что яицкие казаки «кричали: Не умели вы нас прежде взять, когда у нас Хозяина не было, а теперь Батюшка наш опять к нам приехал — и вам уж взять нас не можно; да и долго ли вам, дуракам, служить женщине — пора одуматься и служить государю» (IX, кн. 2, стр. 766—767). Гринеv же не может признать Пугачева царем: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» (VII, кн. I, стр. 332).

Пушкин ясно видит, что, хотя «крестьянский царь» заимствует внешние признаки власти у дворянской государственности, содержание ее — иное. Крестьянская власть патриархальнее, прямее связана с управляемой массой, лишена чиновников и окрашена в тона семейного демократизма. На «странном», для Гринева, военном совете у Пугачева «все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю» (там же, стр. 330). В этом смысле кавалерские ленты на крестьянских тулупах сподвижников Пугачева и оклеенная золотой бумагой крестьянская изба с рукомойником на веревочке, полотенцем на гвозде, ухватом в углу и широким шестком, уставленным горшками, — «дворец» Пугачева, — глубоко символичны.

Но именно эта крестьянская природа политической власти Пугачева делает его одновременно вором и самозванцем для дворян и великим государем для народа. Пугачев сам говорит Гриневу, что «кровопийцем» его называет «ваша братья» (там же, стр. 352), а Гринеv-старший знает, как и все дворяне, что цель «гнусного бунта» была «ниспровержение престола и истребление дворянского рода» (там же, стр. 369).

Осознание того, что социальное примирение сторон исключено, что в трагической борьбе обе стороны имеют свою классовую правду, по-новому раскрыло Пушкину уже давно волновавший его вопрос о жестокости как неизбежном спутнике общественной борьбы. В 1831 г. Пушкин, напряженно ожидавший новой «пугачевщины», взволнованно наблюдал проявления жестокости восставшего народа. 3 августа 1831 г. он писал

Вяземскому: «Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руссы. Ужасы! Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг<ородских> поселениях<иях> со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито <...> бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдавали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство!» (XIV, стр. 204—205).¹⁰ Впечатления Пушкина, в этот период, видимо, совпадали с мыслями его корреспондента, видевшего события вблизи, Н. М. Коншина, который писал Пушкину: «Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают» (там же, стр. 216). Эту двойную природу народной души — добрую, но ожесточенную — Пушкин тогда попробовал воплотить в образе Архипа, убивающего чиновников¹¹ и спасающего кошку.

К моменту создания «Капитанской дочки» позиция Пушкина изменилась: мысль о жестокости крестьян заменилась представлением о роковом и неизбежном ожесточении *обеих* враждующих сторон. Он начал тщательно фиксировать кровавые расправы, учиненные сторонниками правительства. В «Замечаниях о бунте» он писал: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений!»¹² «Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши» (IX, кн. I, стр. 373). Рядом с рассказом о расстреле пугачевцами Харловой и ее 7-летнего брата, которые перед смертью «сползлись и обнялись — так и умерли», Пушкин внес в путевые записи картину зверской расправы правительственных войск с ранеными пугачевцами: «Когда под Тат.<ишевой> разбили Пугачева, то яиц<их> прискакало в Оз.<ерную> израненных, — кто без руки, кто с разруб<енной> головою <...>. А гусары галицынские и Хорвата <?> так и ржут по улицам, да мясничат их» (IX, кн. 2, стр. 496—497. Курсив Пушкина).

Пушкин столкнулся с поразившим его явлением: крайняя жестокость обеих враждующих сторон проистекала часто не от

¹⁰ Истолкование значения этой цитаты для истории замысла «Капитанской дочки» см.: Ю. Г. Оксман, цит. соч., стр. 24.

¹¹ Для концепции Пушкина первой половины 1830-х гг. показательным, что жертвой восставшего народа оказываются именно чиновники — слуги самодержавия и связанной с ним псевдоаристократии, — а не «свой» помещик. Восстания в военных поселениях как бы подтверждали эти убеждения: они были направлены против военных чиновников, подчиненных правительству.

¹² В черновом варианте Пушкин распространил это место: «Иных, пишет Рычков, растыкали на кольях, других повесили ребром за крюки; некоторых четвертовали» (IX, кн. I, стр. 477).

кровожадности тех или иных лиц, а от столкновения непримиримых социальных концепций. Добрый капитан Миронов, не задумываясь, прибегает к пытке, а добрые крестьяне вешают невинного Гринева, не испытывая к нему личной вражды: «Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить» (VIII, кн. I, стр. 325).

В том, что жестокость нельзя объяснить случайными причинами или характерами отдельных людей, убедил Пушкина рассказ Крылова о том, какое ожесточение вызвала между детьми даже «игра в пугачевщину»: «Дети разделялись на две стороны, городовую и бунтовскую, и драки были значительные <...> произошло в ребятах, между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов (живой доньне). Мертваго, поймав его, в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. — Его отцепил прохожий солдат» (IX, кн. 2, стр. 492).

Невозможность примирения враждующих сторон и неизбежность кровавой и истребительной гражданской войны открылась Пушкину во всем своем роковом трагизме. Это только подчеркивалось тем, что, излагая события глазами наблюдателя-дворянина, Пушкин показывал социальную узость и необъективность точки зрения повествователя. Гринева пишет: «Шайка выступила из крепости в порядке» (VIII, кн. I, стр. 336), и стилистический оксюморон «шайка выступила», подчеркнутый обстоятельством образа действия «в порядке», показывает и объективную картину выступления войска крестьян, и невозможность для наблюдателя — дворянина увидеть в этом войске что-либо, кроме шайки. Так построена вся ткань повествования. Из этого, бесспорно, вытекает и то, что вызывавшие длительные споры сентенции повествователя принадлежат не Пушкину. Но из этого еще не вытекает того, что Пушкин с ними не согласен.

Определение отношения автора к изображаемым им лагерям — коренной вопрос в проблематике «Капитанской дочки». Спор о том, кому следует приписать ту или иную сентенцию в тексте, не приблизит решения этого вопроса, ибо ясно, что сам способ превращения исторических героев в рупор авторских идей был Пушкину глубоко чужд. Гораздо существеннее проследить, какие герои и в каких ситуациях вызывают симпатии автора. Когда-то, создавая оду «Вольность», Пушкин считал закон силой, стоящей над народом и правительством, воплощением справедливости. Сейчас перед ним раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций законности и справедливости, причем законное с точки зрения одной социальной силы оказывается незаконным с точки зрения другой. Это убеждение обогатило Пушкина высоким историческим

реализмом, позволило увидеть в истории столкновение реальных классовых сил и подвело к созданию таких глубоких по социальной аналитичности произведений, как «Сцены из рыцарских времен».

Но это же проникновение в законы истории снова и по-новому поставило перед Пушкиным издавна волновавший его вопрос о соотношении исторически-неизбежного и человеческого. Мысль о том, что исторический прогресс не отделим от человечности, постоянно в той или иной форме присутствовала в сознании Пушкина. В 1826 г. Пушкин писал: «Герой — будь прежде человек», в 1830 г. он повторил эту же мысль:

Оставь герою сердце, что же
Он будет без него — тиран?

Диалектика прав исторической закономерности и прав человеческой личности волновала Пушкина с 1826 г. Но теперь история предстала как внутренняя борьба, а не как некое единое движение,¹³ и Пушкин встал перед вопросом соотношения социальной борьбы и этического критерия гуманности.

Пушкин раскрывает сложные противоречия, возникающие между политическими и этическими коллизиями в судьбах его героев. Справедливое с точки зрения законов дворянского государства оказывается бесчеловечным. Но было бы недопустимым упрощением отрицать, что этика крестьянского восстания XVIII в. раскрылась Пушкину не только в своей исторической оправданности, но и в чертах, для поэта решительно неприемлемых. Сложность мысли Пушкина раскрывается через особую структуру, которая заставляет героев, выходя за мир свойственных им классовых представлений, расширять свои нравственные горизонты. Композиция романа построена исключительно симметрично.¹⁴ Сначала Маша оказывается в беде — суровые законы крестьянской революции губят ее семью и угрожают ее счастью. Гринев отправляется к крестьянскому царю и спасает свою невесту. Затем Гринев оказывается в беде, причина которой, на сей раз, кроется в законах дворянской государственности. Маша отправляется к дворянской царице и спасает жизнь своего жениха. Рассмотрим основные сюжетные узлы. До десятой главы действие подчинено углублению конфликта между дворянским и крестьянским мирами. Герой, призванный воспи-

¹³ В «Полтаве» борьба идет между Петром и вне истории стоящими эгоистами, честолюбцами, странствующими палладинами (Мазепа, Карл XII), в «Капитанской дочке» и Пугачев и Екатерина II представляют русский XVIII век.

¹⁴ Об этом см. в кн. Д. Д. Благого «Мастерство Пушкина», М., Советский писатель, 1955.

¹⁵ Мы имеем в виду первоначальный, а не последующий, цензурный, вариант XI главы.

танием, присягой и собственными интересами стоять на стороне дворянского государства, убежден в справедливости его законов. Нравственные и юридические нормы его среды совпадают с его стремлениями как человека. Но вот он в осажденном Оренбурге узнает об опасности, грозящей Маше Мироновой. Как дворянин и офицер он обращается к своему начальнику по службе с просьбой о помощи, но в ответ слышит лекцию о предписаниях военного устава.

«— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек», — сказал он качая головой. — «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникаций с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация . . .»

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения» (VIII, кн. I, стр. 343).

Речи и действия генерала справедливы и обоснованы с уставной точки зрения. Они законны и закономерны. Дав Гринеvu войска, он нарушил бы правила военной теории, не дав их, он нарушает лишь требования человечности. Канцеляризм оборотов речи генерала подчеркивает новую сторону идеи законности: она оборачивается к герою своей формальной, бесчеловечной стороной. Это особенно ясно после того, как Гринев раскрывает генералу свою интимную заинтересованность в судьбе Машы Мироновой. Он слышит ответ: «Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и пол-сотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность» (там же). Генерал, как человек, сочувствует Гринеvu, но действует, как чиновник.

Гринев предпринимает совершенно неожиданный для русского дворянина и офицера XVIII века шаг (не даром он сам называет свою мысль «странной») — он выходит из сферы действия дворянских законов и обращается за помощью к мужицкому царю. Однако в стане восставших действуют свои законы и нормативные политические идеи, которые столь же равнодушны к человеческой трагедии Гринева. Более того: как дворянин, Гринев враждебен народу, и законы восстания, политические интересы крестьян требуют не оказывать ему помощи, а уничтожить его. Подобное действие вытекало бы не из жестокости того или иного лица, а из автоматического применения общего закона

к частному случаю. Желая остаться дворянином и получить помощь от Пугачева, Гринев явно непоследователен. На это тотчас же указывает сподвижник Пугачева Белобородов: «. Не худо, — говорит он Пугачеву, — и господина офицера допросить порядком: Зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку, мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров» (там же, стр. 348). Совет этот не выдает в его авторе какой-либо особой жестокости: пытка в XVIII веке, как Пушкин специально подчеркнул в двух параллельных сценах и специальном размышлении Гринева, входила в нормальную практику дворянского государства. Что касается до сущности недоверия Белобородова к Гриневу, то оно вполне оправдывается классовыми интересами крестьянской революции. Белобородов не верит Гриневу, потому что видит в нем дворянина и офицера, не признающего власти мужицкого царя, преданного интересам враждебного ему мира господ. Он имеет все основания заподозрить в Гриневе шпиона и, оставаясь в пределах интересов своего лагеря, совершенно прав. Этого не может не признать и Гринев: «Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу.» (там же, стр. 348). Следует учесть, что характеристика Белобородова как злодея — дань социальной позиции Гринева, который оправдывает прибегающего к пытке капитана Миронова нравами эпохи. Тогда станет ясно, что стремление пугачевского «фельдмаршала» отождествить живого человека с его социальной группой и перенести на его личность весь свой — справедливый — социальный гнев, обращаться с каждым из представителей враждебного класса по политическим законам отношения к этому классу повторяет логику остальных героев произведения — мионовых, зуриных и др. По этим же законам действует и совсем не «злодей», а заурядный человек своего мира, Зурин. Одних слов: «Государев кум со своей хозяйшкой», — то есть свидетельства о принадлежности пойманных людей к миру восставших, ему достаточно, чтобы, не размышляя, отправить Гринева в острог и приказать «хозяйшку к себе привести» (там же, стр. 361). Но вот Гринев арестован, он приведен на суд. Его судьи — «пожилой генерал, виду строгого и холодного. и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении» (там же, стр. 367) тоже поступают «по законам». Они видят в Гриневе только связанного с «бунтовщиками» политического противника, а не человека. Уверенность же Гринева в том, что ему удастся оправдаться, зиждилась совсем на иных основаниях — чувстве своей *человеческой* правоты. С точки зрения дворянских

законов Гринева, действительно, виноват и заслуживает осуждения. Не случайно приговор ему произносит не только дворянский суд, но и родной отец, который называет его «ошельмованным изменником». Показательно, что не позорная казнь, ожидающая сына, составляет, по мнению Гринева-отца, бесчестие, а измена дворянской этике. Казнь даже возвышает, если связана с возвышенными, для дворянина, умыслами и делами. «Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с рабейниками, с убийцами, с беглыми холопьями» (там же, стр. 370).

Как только Гринева поняли, что судьям нет дела до человеческой стороны его поступков, он прекращает самозащиту, боясь впутать Машу в бесчеловечный процесс формалистического судопроизводства.

Везде, где человеческая судьба Маши и Гринева оказывается в соприкосновении с оправданными внутри данной политической системы, но бесчеловечными по сути законами, жизни и счастью героев грозит смертельная опасность.

Но герои не погибают — их спасает человечность. Машу Миронову спасает Пугачев. Ему нечем опровергнуть доводы Белобородова — политические интересы требуют расправиться с Гриневым и не пощадить дочь капитана Миронова. Но то чувство, которое примитивно, но прямо выразил Хлопуша, упрекнув Белобородова: «Тебе бы все душить, да резать <...> Разве мало крови на твоей совести» (там же, стр. 349) руководит и Пугачевым. Он поступает так, как ему велят не политические соображения, а человеческое чувство. Он милостив, следовательно, непоследователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми. Но эта непоследовательность спасительна, ибо человечность таит в себе возможность более глубоких исторических концепций, чем социально-оправданные, но схематичные и социально-релятивные «законы». В этом смысле особо знаменательно то, что Пугачев одобритительно отзывается о попаде, которая, спасая Машу, обманула пугачевцев — «хорошо сделала кумушка-попадья» (там же, стр. 356).

Судьба Гринева, осужденного и, с точки зрения формальной законности дворянского государства, справедливо, — в руках у Екатерины II. Как глава дворянского государства, Екатерина II должна осуществить правосудие и, следовательно, осудить Гринева. Замечателен разговор ее с Машей Мироновой: «Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» — Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия» (там же, стр. 372). Противопоставление милости и правосудия, невозможное ни для просветителей XVIII в., ни для декабристов, глубоко знаменательно для Пушкина. Справедливость — следо-

вание законам — осуждает на казнь сначала Клавдио, а затем и самого Анжело, — милость спасает их. «И Дук его простил. . .» Петр «прощенье торжествует, как победу над врагом», «виноватому вину отпуская, веселится». Тема милости становится одной из основных для позднего Пушкина. Он включил в «Памятник», как одну из своих высших духовных заслуг, то, что он «милость к падшим призывал». «Милость», для Пушкина, — отнюдь не стремление поставить на деспотизм либеральную заплату. Речь идет об ином: Пушкин мечтает о формах государственной жизни, основанной на подлинно человеческих отношениях. Поэт раскрывает несостоятельность политических концепций, которыми руководствуются герои его повести, следующим образом: он заставляет их переносить свои политические убеждения из общих сфер на судьбу живой человеческой личности, видеть в героях не Машу Миронову и Петра Гринева, а «дворян» или «бунтовщиков». В основе авторской позиции лежит стремление к политике, возводящей человечность в государственный принцип, не заменяющей человеческие отношения политическими, а превращающей политику в человечность. Но Пушкин — человек трезвого политического мышления. Утопическая мечта об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политически-реальных систем, которые могла предложить ему историческая действительность — феодально-самодержавных и буржуазно-демократических («слова, слова, слова. .»). Поэтому стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих душевных движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма — закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX вв., включающему и утопических социалистов и крестьянских утопистов-уравнителей, весь тот поток духовных исканий, который, по словам В. И. Ленина, «выстрадал», подготовил русский марксизм.

В связи со всем сказанным приходится решительно отказаться, как от упрощения, от распространенного представления о том, что образ Екатерины II дан в повести как отрицательный и сознательно-сниженный. Для того, чтобы доказать этот тезис, исследователям приходится совершать грубое насилие над пушкинским текстом. Приведем один пример. Д. Д. Благой в богатой тонкими наблюдениями книге «Мастерство Пушкина» приводит обширную цитату из знаменитой сцены Маши Мироновой и императрицы в царскосельском парке, обрывая ее на словах: «Как неправда!» — возразила дама, вся вспыхнув», и комментируя: «От «прелести неизъяснимой» облика незнакомки, как видим, не остается и следа. Перед нами не приветливо улыбающаяся «дама», а разгневанная, властная императрица, от кото-

рой бесполезно ждать снисхождения и пощады. Тем ярче по сравнению с этим проступает глубокая человечность в отношении к Гриневу и его невесте Пугачева». ¹⁶ Однако «Капитанская дочка» — настолько общеизвестное произведение, что даже неподготовленному читателю известно: в повести Пушкина Екатерина II помиловала Гринева, подобно тому как Пугачев — Машу и того же Гринева. Что же после этого означают слова о том, что от нее «бесполезно ждать снисхождения и пощады»? В исследовательской литературе с большой тонкостью указывалось на связь изображения императрицы в повести с известным портретом Боровиковского. Однако решительно нельзя согласиться с тем, что бытовое, «человеческое», а не условно-одическое изображение Екатерины связано со стремлением «снизить» ее образ или даже «разоблачить» ее как недостойную своей государственной миссии правительницу. Пушкину в эти годы глубоко свойственно представление о том, что человеческая простота составляет основу величия (ср., например, «Полководец»). Именно то, что в Екатерине II, по повести Пушкина, рядом с императрицей живет дама средних лет, гуляющая по парку с собачкой, позволило ей проявить человечность. «Императрица не может его простить», — говорит Екатерина II Маше Мироновой. Но в ней живет не только императрица, но и человек, и это спасает героя, а непредвзятому читателю не дает воспринять образ как односторонне отрицательный.

Ставить вопрос: на чьей из двух борющихся сторон стоит Пушкин — значит не понимать идейной структуры повести. Пушкин видит роковую неизбежность борьбы, понимает историческую обоснованность крестьянского восстания, отказывается видеть в его руководителях «злодеев». Но он не видит пути, который от идей и действий любого из борющихся лагерей вел бы к тому обществу человечности, братства и вдохновения, туманные контуры которого возникали в его сознании.

Темы: отношение Пушкина к социально-утопическим учениям Запада 1820—1830-х гг. и роль его в развитии русского утопизма ¹⁷ — не только не изучены, но и не поставлены. Между тем, вне этой проблематики многое в творчестве позднего Пушкина не может быть понято или получает неправильное истолкование. Настоящий очерк не ставит и не может ставить пред собой задачи изучения этих сторон творчества Пушкина, однако, не учитывать их невозможно.

Утопические идеи 1820—1830-х гг. при всем своем разнообразии имели некоторые общие черты: критику капитализма как

¹⁶ Д. Благой, Мастерство Пушкина, стр. 264.

¹⁷ «Утопизм» понимается здесь как широкое понятие, см.: Ю. Лотман, Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х гг., Ученые записки ТГУ № 119 (Труды по русской и славянской филологии, т. V), Тарту, 1962.

экономической системы, буржуазной демократии как политической системы, разочарование в политической борьбе, которую приравнивают буржуазному политиканству, разочарование в насильственной революции, как приводящей к буржуазным порядкам. Разочарование в парламентских формах политической жизни в сочетании с отсутствием ясного представления об исторических путях, которые могут привести к грядущему справедливому обществу, определило у определенной части утопистов преувеличенные надежды на правительство, особенно на личную власть, якобы, способную возвыситься над современным ему обществом. В этом отношении, например, показательна сложная диалектика отношения к правительству Белинского в конце 1840-х гг.

Весьма любопытно отношение к этому вопросу Пушкина — автора «Капитанской дочки».

В период «Полтавы» поэт, перед которым раскрылась закономерность как основная черта истории человечества, склонен был считать великим лишь того исторического деятеля, который победил в себе все случайное, индивидуальное, человеческое, слив свое «я» без остатка с прогрессивным историческим развитием. Но уже с «Героя», с его требованием оставить герою сердце, все более выдвигается вперед представление о том, что прогрессивность исторического деятеля измеряется степенью его человечности. У этого вопроса был и другой аспект. Начало 1830-х гг. — время роста антисамодержавных настроений Пушкина. В произведениях типа «Моей родословной» и «Дубровского» правительство, опирающееся на псевдоаристократию и чиновников, — основной враг. Царь — воплощенное государство, вершина его аппарата. Во вторую половину 1830-х гг. для Пушкина характерны утопические попытки отделить личность царя от государственного аппарата. Отделив его — живого человека — от бездушной бюрократической машины, он надеялся, сам ощущая утопичность своих надежд (в 1834 г. он писал в дневнике о безнравственности политических привычек Николая I: «Что ни говори, а мудрено быть самодержавным», XII, стр. 329), на помощь *человека*, стоящего во главе государства, в деле преобразования общества на *человеческой* основе, создания общества, превращающего человечность и доброту из личного свойства в государственный принцип. Таков Дук в «Анжело», Петр в «Пире Петра Великого». В этом смысле любопытно, и это отметил Ю. Г. Оксман, что в «Капитанской дочке» подчеркнута, по сравнению с «Историей Пугачева», роль Пугачева как руководителя народного государства. В «Истории Пугачева» Пушкин был склонен видеть в нём отважного человека, но игрушку в руках казачьих вожаков. Так, Пушкина привлекло «приватное извятие», якобы арестованный Пугачев «уличал» своих сподвижников, «что они несколько дней упрашивали (в

вариантах выразительнее: «тр<ебовали>») его принять на себя имя пок.<ойного> государя и быть их предводителем, от чего он отрицался, а наконец хотя и согласился, но все делал с их воли согласия, а они иногда и без и против его» (IX, кн. 2, стр. 771—772). Из тех же соображений Пушкин привлек рассказ о гибели любимца Пугачева Карницкого: «Уральск.<ие> каз.<аки> из ревности в Тат.<ишевой> посадили его в куль да бросили в воду. — Где Карн.<ицкий>, — спросил Пугачев. — Пошел к матери по Яику, отвечали они. Пугачев махнул рукой и ничего не сказал. — Такова была воля яиц.<им> казакам!» (Там же стр. 496).

В «Капитанской дочке» Пугачев наделен достаточной властью, чтобы самостоятельно и вопреки своим сподвижникам спасти и Гринева, и Машу Миронову. Пушкин начинает ценить в историческом деятеле способность проявить человеческую самостоятельность, не раствориться в поддерживающей его государственной бюрократии, законах, политической игре. Прямое, без посредующих звеньев, обращение Маши к Екатерине II, доступность и человечность Дука, который не ставит между жизнью и собой мертвой фикции закона, независимость Пугачева от мнений своих «пьяниц», которые «не пощадили бы бедную девушку» (VIII, кн. 1, стр. 356) обеспечивают счастливые развязки человеческих судеб.

Было бы заблуждением считать, что Пушкин, видя ограниченность (но и историческую оправданность) обоих лагерей — дворянского и крестьянского — приравнивал их этически. Крестьянский лагерь и его руководители привлекали Пушкина своей поэтичностью, которой он, конечно, не чувствовал ни в оренбургском коменданте, ни во дворе Екатерины. Поэтичность же была для Пушкина связана не только с колоритностью ярких человеческих личностей, но и с самой природой народной «власти», чуждой бюрократии и мертвящего формализма.

Русское общество конца XVIII века, как и современное поэту, не удовлетворяет его. Ни одна из наличных социально-политических сил не представляется ему в достаточной степени человеческой. В этом смысле любопытно соотношение Гринева и Швабрина. Нельзя согласиться ни с тем, что образ Гринева принижен и оглушен в роде, например, Белкина в «Истории села Горохина», ни с тем, что он лишь по цензурным причинам заменяет центрального героя типа Дубровского-Шванвича.¹⁸

Гринева — не рупор идей Пушкина. Он русский дворянин, человек XVIII века с печатью своей эпохи на челе. Но в нем есть

¹⁸ «Для того, чтобы обеспечить прохождение «Капитанской дочки» в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянина-интеллигента в стане Пугачева. Положительными чертами Шванвича наделен Гринева, а отрицательными — Швабрин» (Ю. Г. Оксман, цит. соч., стр. 76).

нечто, что привлекает к нему симпатии автора и читателей: он не укладывается в рамки дворянской этики своего времени, для этого он слишком человечен. Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Ответ пушкинской мечты о подлинно человеческих общественных отношениях падает и на Гринева. В этом — глубокое отличие Гринева от Швабрина, который без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринева у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не «пришелся» ни к одному лагерю — Швабрин к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрассудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева. Швабрин хуже, чем рядовой дворянин Зурин, который, воспитанный в кругу сословных представлений, не чувствует их бесчеловечности, но служит тому, в справедливость чего верит.

Для Пушкина в «Капитанской дочке» правильный путь состоит не в том, чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в том, чтобы приподняться над «жестоким веком», сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни других людей. В этом для него состоит подлинный путь к народу.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени С. М. КИРОВА
КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

ПСКОВ
1962